

Бог создал воскресенье



Пояснительное слово

Приезжает тут к нам на остров каждое лето человек один. У нас его Придумщиком прозвали. Свыклись мы с ним не сразу. Много всякого народу наезжает летом на этот остров. Красиво здесь в эту пору и тихо. Мир да благодать. И море, как овечка, ласковое. С каждым встречным и поперечным мы скоро не сходимся. Чужих мы сторонимся и мыслей своих заветных им не выкладываем. Такому что — приехал да уехал. А отдай ему часть души, так он ее, пожалуй, с собой прихватит. К этому же мы привязались, потому что он, что ни год, обратно к нам возвращался. Он к нам в душу влез, как пескоройка в прибрежный песок. Он даже говорить по-нашему подучился, и хоть и смешно было смотреть, что он ртом выделявает, когда слова выговаривает, но, по крайней мере, видно, что человек от души старается.

Каждый раз он появлялся у нас в таком виде, что смотреть жалко. Был он рыжий, и оттого казалось, будто он уж и вовсе плох. Он попивал. Там, у себя дома, он писал книги и всякое такое. Нам эти книги

давать было без пользы, потому что в английском языке мы не больно-то смыслим. Но люди говорили, что, видно, он в своем ремесле хорошо поднаторел, если судить по тому, как он всякие истории рассказывает. Он и рассмешить умел, и так тебя рассказом своим пронять, что ты уж и на месте усидеть не можешь.

Ходил он обычно в фуфайке, какие у нас на островах вяжут, и в старых штанах, и можно было принять его за бродячего торговца. Поставит себе где-нибудь в укромном местечке у моря палатку и живет там в тесноте и грязи, а все же к концу месяца его было не узнать. Красные жилки в глазах исчезали, и сам он становился пободрее, и, когда приходило ему время уезжать, нам уже было жаль с ним расставаться, и мы скучали по нем, и радовались, что на будущий год можно будет снова его поджидать. Где-то у него была жена, но только она с ним никогда не приезжала, да и дети тоже. Он о них мало вспоминал. В Бога он не верил. Тут у нас об этом много говорили и очень его жалели. Особенно по воскресеньям, когда он сидел один на холме и смотрел, как народ от обедни расходуется.

Мне он стал другом. И чего это я пишу о нем в прошедшем, сам не знаю, — оттого, верно, что писание мне так туго дается. Он и по сей день мне друг, и если б не он, так разве стал бы я писать все это, когда у меня от натуги пальцы сводит и пот на лбу проступает?

У меня лодка есть, вот он и зачастил со мной в море ходить. Я ему всегда только рад был. Когда он

по-нашему лучше научился понимать, стали мы с ним много о чем разговаривать, пока я свои лески закидывал. Ну а прошлым летом затеяли мы эту канитель, почему я сейчас, зимой, таким делом и занимаюсь.

Колмэйн, — это он мне говорит, — вот ты человек верующий. С чего же это ты веришь, что Бог есть? Я даже обалдел. Есть вещи, которые знаешь на верное, и есть вещи, которые на верное не знаешь. Есть и такие вещи, о которых вовсе не станешь говорить. Есть вещи, которых ни на одном языке не выразишь, даже если бы все языки на свете знать. Да просто знаю, говорю. Ты ж не дурак, говорит он. Неужели же то, во что ты так твердо веришь, столь шатко, что ты людям о нем рассказать не можешь? Ты мне голову не морочь, Пол, сказал я. Вера — это редкостная драгоценность, сказал он, вроде как жемчужина в морской раковине. Как же ты эту драгоценность обнаружил? Почему не дашь мне взглянуть на нее? Или боишься, что от моего взгляда она в песчинку обратится?

Да где мне слова взять, говорю я. Я человек простой.

Мне слов не занимать стать, сказал он. У меня их миллион наберется. Все они на бумаге записаны. Я мог бы комнату завалить книгами, в которых они увековечены, а что в них проку? Тут он распрямился и стал мне пальцем грозить. Подавай мне свои слова, говорит. Вот что я тебе скажу. Зима длинная. Зимние вечера длинные. Работы зимой у тебя мало. Перед отъездом я дам тебе белой бумаги, и пиши на ней, как

Может, и мать бы так думала, если б не вернуло нам море Тиррена. Потому что те-то все умирали быстро, раз, два — и готов, запутавшись в сетях, захлебнувшись морскою водой. Мать же моя умирала три года. Три года умирала она у меня на глазах, и смотреть на это было не больно-то весело.

Понял я, что такое любовь. Понял, что любовь может свести в могилу. Я вспомнил отца и мать, когда они были вместе. Посмотреть на них, так и не скажешь, чтоб они и любили-то друг друга. Была их любовь скрытая, без лишних слов. Потому что простые люди всякого такого себе не позволяют. Нам совестно смотреть на дачников, когда они ручки жмут да целуются при свете дня на глазах у всех. У родителей моих любовь сказывалась в шуточке, во взгляде, а то и в перебранке. Но только когда отца не стало, понял я, что никто на свете ей больше не нужен.

Даже я.

Чего уж там скрывать. Мне это обидно было. Один только раз я сказал ей об этом.

Может, говорю, ты бы хоть ради меня пожила, ради своего последнего сына. До сих пор об этом жалею. То слабость была. Правда, заплакала она, пролила слезы, что так долго в себе копила, да только ничего хорошего из этого все равно не вышло, потому что мысли ее были не здесь.

Потому-то я и люблю вспоминать ее такой, как она была в тот день, когда я картошку копать домой прибежал.

Потому что больше уж я ее такой не видел. Мне восемнадцатый шел, когда она померла. Три, значит, года. Ее было не узнать. Волосы потускнели, зубы не были белыми, как прежде, румянец пропал, спина согнулась. Между прочим, и она тоже умерла в понедельник. Понимаешь теперь, что я хотел сказать, когда говорил, что все важное обязательно в будние дни случается?

Было, значит, мне семнадцать лет, и был я один-одинешенек. Не было у меня ни отца, ни матери, ни брата, ни сестер.

До четырнадцати лет я смеяться с утра до ночи готов был. Видно, счастливо мне жилось. Я и проказил, как полагается мальчишкам, и бранили меня вдоволь, и отцовскую руку не раз случалось мне на себе испробовать. Тяжелая у него была рука. Будто доской тебя огреет.

У меня был пустой дом, и шесть акров земли, и корова, и два теленка, и свинья, и куры. Но не было у меня семьи и не было лодки.

И все это стряслось со мной в понедельник.

Вторник

Несуразные вещи страх с людьми делает. Страх, как говорится, превращает мужика в бабу. Я с этой поговоркой не согласен. Мне, например, думается, что иной раз женщины похрабрей мужчин бывают. Но из мужчины тряпку сделать они умеют. Только это

сказал я. Я с его шуток чуть жизни не лишился. А скоро мы сможем обвенчаться, Колмэйн? спросила она. У меня аж помятые ребра заныли. Ровно через три недели, Катриона, сказал я. И пусть отец не думает, теперь с меня взятки гладки, сказала она. Через три недели, значит, и обвенчаемся. Будь я поцелее, я б тебе тут же сплясал, сказал я. Ты это правда, Катриона? Ты правда? Ведь если подсчитать, так у меня не больно-то много чего есть.

С самого того дня, как я тебя с телком встретила, сказала она, я знала, что у тебя есть для меня самое главное. Я засмеялся, и от этого стало больно голове, но сердце лопалось от счастья. И она промыла мои раны мокрой тряпочкой, и мне было сладостно, что она тут, со мной рядом. И жизнь моя стала полна, потому что теперь одиночество мое кончилось. Да, вот что я хотел еще сказать: свадьбу-то мы играли тоже в среду.

Четверг

Я не раз слышал, что людям вроде меня о красоте судить не положено. То есть не то чтобы считалось, будто мы красоты природы не замечаем, а не чувствуем ее, что ли. Только разве это возможно — замечать, да не чувствовать? Но вот господам, которые приезжают из города посмотреть, как простой человек в деревне живет, это, видно, невдомек. Разве тот, кто конфетами торгует, говорят они, знает, из чего они приготовлены?

Да бросьте, говорят, откуда ему чувствовать, когда ему все это с детства привычно! Известно им и то, что не откуда простому человеку образованным быть, когда все школы да университеты от него так далеко, что и не добраться до них, почему и остается одна начальная школа, где его учат читать да нехитрые задачки по арифметике решать. Случалось мне раз слышать, как люди грамотные при мне друг другу на красоту заката указывали или там на какое-нибудь облако затейливое или любовались, как луна в просвет между туч бурной ночью проглядывает или как лодка по тихому морю плывет. Я вот тут, рядом, а они разговаривают, будто и нет меня. Зря они это.

Жизнь, понимаешь ли, вот настоящая книга. Взял я раз тут одного с собой на рыбную ловлю. Он большим профессором где-то там у себя был. И все он мне про философию говорил. Много он лет проучился и страсть какой образованный был. А я, поверишь ли, его понимал. И многие тут у нас его понимали. Удивляешься? Он не удивлялся. Он говорит: и ничего тут удивительного нету. Потому что, говорит, мы про жизнь книжки пишем, а ты эту жизнь сам живешь. Книжки, говорит, — это просто печатное слово, и рассказывается в них про жизнь человека, и про его разумение, и отчего он так поступает, а не иначе. Все люди в основе одинаковые, хоть белые, хоть какие, и все же все они разные... Я это все к тому, что хочется мне про себя все по совести тебе рассказать.

Красоту я понимал. Бывало, увижу, как горит вечерняя заря над горами, и остановлюсь, погляжу. Не

Свет в долине



Мартовское солнце холодным светом заливало склон высоченной горы. Гора замыкала долину с северо-запада, так что она видела солнце по вечерам, когда горы, высившиеся с противоположной стороны, скалистые и бесплодные, уже успевали погрузиться во мрак. Гора эта была почти сплошь зеленая. Каменистая основа ее была припорошена тонким слоем земли, ну а где земля, там и трава, а где трава, там и овцы: белыми пятнышками они рассыпались по горе сверху донизу, даже там, где скалы были почти отвесными.

У подножья горы пристроились все пять домиков, составляющих деревню. Сверху они казались совсем игрушечными; голубые дымки лениво поднимались из труб. Долину пересекала слева направо извилистая река, которая брала свои воды из большого озера и несла их к морю. Живописная река, которая, весело играя на солнце, нагромождала в своих излучинах целые горы золотистого песка. Благодатная река, несущая в половодье семгу и форель, всегда готовая напоить вкусной прозрачной водой, пекущаяся о том, чтобы луга в ее пойме были пышны и зелены.

Одним словом, картина была мирная. Даже овцы нет-нет переставали щипать низенькую травку, чтобы посмотреть вниз. Открывавшийся вид им явно нравился. «И придет же такая чушь в голову!» — подумал всадник, только что одолевший перевал, и придержал лошадь, чтобы получше осмотреться кругом. На горе расположился общественный выгон, насчитывавший не одну сотню акров, и на этом выгоне паслась не одна тысяча овец. Большинство их успело окотиться, и ягнята белыми клубочками катались за матерями по пятам.

Мартин Браудер, который возвращался домой после заготовки торфа с болот, лежавших по ту сторону горы, остался видом весьма доволен. Он даже слез со своей серой лошадки, присел на камень, набил трубочку и еще раз не спеша поглядел по сторонам из-под козырька своей кепки. Лошадь же, не тратя попусту времени, принялась щипать траву.

Да, подумал он, хорошо. Найдутся, конечно, люди, которые скажут, что это называется быть заживо похороненным в неизвестной глуши. Сам он смотрел на это иначе. Он мог перечесать все, чем был богат: своих овец (потому что в овцеводческом районе овцы стоят на первом месте), свою жену, своих двух сыновей и дочь. Все они сыты, долгов нет, да еще и в банке кое-что отложено. Правда, поработать ради этого пришлось, да еще как поработать, но, собственно, так оно человеку от Бога и положено.

Полезно иногда, подумал он, отложив насущные дела, посидеть вот так в тишине да посчитать, что у тебя в жизни есть хорошего.